

Теперь, когда улеглись наши страсти вокруг имени Николая Рубцова, а стихи его "обвыклись" в литературной и житейской среде, утешилось и само отношение людей - почитателей поэта - к нему. Началось утоление: талант Николая Рубцова, как родной пронзительный всполох, затрепетал и, золотея, ровно засветился...

Философ думает. Поэт страдает. Пахарь латает рубаху. Сталевар не в силах понять: куда деваются моря пламенного железа? Трактор есть, а молока детишкам не хватает. Танки и корабли есть, а границы постоянно требуют зоркости. Философ размышляет, сопоставляет, накладывает эпоху на эпоху, политик изучает ситуацию, правитель принимает меры. А у поэта что? Поэт страдает, видя плохо одетого пахаря, недокормленных его детей. Страдает, видя длинную очередь если не за продуктами, то за водкой.

Поэту, наверное, тяжелее всех, никто за него не скажет:

*Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.*

— *Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.*

Поэт разговаривает с самим собою. Ищет. Не находит. Опять страдает.

Николай Рубцов — ярко один. Одиночество думающего, одиночество страдающего горит, как тот дорожный свет, над его коротким заботливым творчеством, напоминающим северную церковь со всеми положенными ей селами и городами.

Но это «на том берегу», как ответили люди. Между поэтом и народом такая река непонимания!.. Мы наелись революциями. Наелись войнами. Нагоревались могилами.

Тачанка Революции остановилась. Кони в пене. Анка-пулеметчица— бездетная вдова... Лихие рубахи растворились в степных травах и сгнули в скифских курганах. Что же

случилось? Что же случилось?

Только ли Николай Рубцов задумался? Задумалось прежде его поколение. А поколение задумалось потому, что уже давно, давно задумались деды и отцы: куда скакала тачанка? Почему у Анки, храброй и красивой, детей на свете не осталось? Зачем в России так много одиноких братских могил? Братский труд — понятно. Братская песня — понятно. Но братская могила? А их у нас — сотни, тысячи. А туруханские могилы? А калмыцкие могилы? И тоже братские, братские.

Вот и «глохнет жизнь под небом оловянным. И лишь почтовый трактор хлопотливо туда-сюда мотается»... А ныне в знакомом «грязном бездорожье» и трактор не нужен. Деревня вымерла. Она сперва постарела, ссутулилась, ослепла и замолкла: могил много, особенно братских!.. А древние погосты, обычные погосты, и прибраться некому. Сиротские погосты. Ничьи.

Поэт Николай Рубцов напоминает мне честного печника, кладущего печь. Каждый кирпич поднят и «пригнан» с крестьянским терпением, ладом и тайной мечтой: вот затрещит лучина, загудят своды, потеплеет в доме, испарится иней с бревен и рам, послышится в горнице речь, русская, не охрипшая от холода, голода и заварухи.

Лишь наивно оценивающий прошлое критик утверждает «независимую, подспудную» способность Николая Рубцова — не впасть в «совриторику», в скудобокую, худоробрую трибунщину и лозунговость. Талант поэта не бывает независимым от времени, истории, событий. А способность поэта, да еще такого, по-лесному настороженного, как Николай Рубцов, вся в шелесте, в шорохе, в громе дня.

Чуткий, музыкальный, медленно смежающий веки, как мудрый токующий глухарь, — поэт Николай Рубцов! Да, Рубцов. Николай Рубцов среди нас, поющий — очень думающий, декламирующий — очень думающий, спорящий — очень думающий, даже когда смеялся — думал... Гитара его не долбила по нервам, не изнывала, а тревожно уводила к памяти, к лугу, к погосту, к реке, где за туманом еще помигивал пароходик детства и надежды. Голос, жесты поэта чуть притормаживались, как будто чего-то немножко опасались, и потом обретали ритм, свойство общения.

Вернувшись из-за морей, отштормившая юность поэта расширенными глазами, полными слез признания, слез разлуки, как бы заново «осела», вникла, внедрилась, вплакалась в родной край, вологодские деревни, села и города. Даже холмы и взгорья Вологодчины, как живые, она взяла на руки, тяжело поддержала, показала народу и принесла их в Москву.

Николай Рубцов — редкий поэт. Тончайшие, почти еще блестящие, лишь еле-еле проносящиеся в душе и в голове наития, ощущения, сомнения, завязи догадок и порывов он умело закреплял, соединял в хрупкий многозначный рисунок, наслаивал на этот рисунок робкую, почти неуловимую подтекстовую вязь, дополнял, наделял острыми приметам и под сердцем, наедине со своими страстями и муками окрыленного вдохновения, лепил образ, и музыка находила музыку, дума находила думу:

*Взбегу на холм
и упаду в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.
Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...*

Но это первая часть стихотворения, вводно-общая. Хотя и тут двуединое упоминание через «из дола»: «И древностью повеет вдруг из дола! И вдруг картины грозного раздора» - «вдруг» и снова «вдруг», на весьма маленькой площадке, есть динамит поэта, магия взрыва.

А вторая часть?

*Россия, Русь—куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы.
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях России.*

Николай Рубцов бывает предельно жестоким в стихах, но не жестокостью человека, а жестокостью бессонного мастерства, жестокостью кары призвания. Ведь призвание карает поэта священной ревнивостью непокая! Смотрите:

*Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они — и где-то у осин*

*Подхватит это медленное ржанье,
И надо мной —
бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...*

Третья часть стихотворения. Но опять кресты, кресты! Опять «вдруг вижу», опять трава, кони жуют, эхо, домашнее почти, и выход, внезапный, огромный, вечный, с молниеподобным звуком: «бессмертных звезд Руси, спокойных звезд безбрежное мерцанье», физически «з» мерцает, звезда всходит из молитвы, из бездонья, из вечности, обнимающей Россию и нас. К Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Некрасову, Блоку, Есенину пришел поэт от рубленно-пролетарского:

*Забрызгана
крупно
и рубка,
и рында...*

Будучи глубоким, с космическим воображением поэтом, Николай Рубцов нигде, ни в одной строке не омрачил великую тайну властной красоты мироздания грубым несогласием с нею, с тем, что пронизательный осязает, талантливый чувствует, гений пророчит: он был сам тайной, сам был красивым, сам был вечным...

Среднего роста. Худой. Небольшое, чуть удлинненное лицо. Глаза небольшие. Умные. Фиксирующие все. Высокий лоб, незаметно переходящий в лысину. Клетчатая рубашка. Неопределенного рисунка и цвета костюм. Темное пальто, легкое, осеннее. Кепка. Потрепанные ботинки, узконосые... Серо-белый шарф на шее. Голос глуховатый. Слова редкие. Больше молчит, чем беседует. Иногда поет под гитару. Но поет редко. Гитара для растяжного чтения своих стихов. Любит слушать чужие стихи. Никогда не критикует. Молчит.

Таким я его помню. Таким и пишу. Кто знает другого — пусть даст другой портрет. В доме Литературного института — общежитии — невозможно долго сохранить хорошее или плохое настроение. Гости идут, едут. Знакомых уйма. Гениев некуда девать... Встречи ежедневные, если не за столом, так на кухне, если не на кухне, так в аудитории.

Но гении богаты и надменны. Гении известны. Николай Рубцов в «гениях» не ходил, но студенты института и слушатели Высших литературных курсов, уважающие поэзию, ценили Рубцова.

Даже через много лет я и покойный ныне прозаик Акулов «подключились» к Виктору Астафьеву:

*В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...*

Поскрипывали переделкинские сосны. Потрескивал в мороз. Седой фронтовик пел нежные строки Рубцова. Что-то трагическое заложено в них от всех нас, переживших кровавые смуты коллективизации, индустриализации, блокады и войны.

Трагично то, что рядовой смысл, вложенный Рубцовым в слова, казался нам, огрубевшим призывами и заветами «корифеев», нам, приученным работать и работать, воевать и воевать, слишком размягчающим:

*Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.*

Но не личная безвыходность, не зимняя морозная ночь вползала в окно, когда пел Виктор Астафьев, а великая боль великого, обреченного на нищету и братские могилы народа. Так это было. За «Матушка возьмет ведро, молча принесет воды..» стояли револьверная Лубянка, барачная Магнитка, стоял сражающийся Сталинград, стояла родная Россия, а пел ее седой воин.

Николая Рубцова признали не критики и не сильные мира сего, нет, его признали одноклассники, ровесники, близкие и дальние друзья, так же бедно одетые, как и он, так же безденежно «счастливые», как безденежно «счастлив» был он. А это признание — лучшее и самое надежное признание среди общих признаний столицы.

Его стихи-песни до их публикации шли, ехали, летели России не через «телерадио», а через память, через душу людей. Не было в его стихах-песнях ни наглой бравады, ни тюремно заблатнения, ни расхристанного обвинительства, ни хулиганской прыти — держите меня! Не было. А была русская печаль. Русская доля. Русская тоска по свету в пути...

Незлобивый, немстительный, но иногда дерзковатый, он был дружен посильным вниманием друзей, сам берег дружбу, не терял чистого человека, если даже и что-то произойдет — недоразумение, вспышка, — не терял.

Однажды я, поэт из Астрахани Николай Ваганов и Григорий Коновалов, прозаик из Саратова, допоздна засиделись в общежитии Литинститута. У Коновалова запретили роман «Истоки», набранный в журнале «Волга», а Николай Ваганов по разным делам задержался в Москве. Засиделись мы в «гостиничной» комнате у Коновалова, куда зашел и Рубцов.

Стихи, привычки, проделки поэтов, трагические их судьбы — все имело место в разговоре. Несколько увлеченный беседой, Николай Рубцов попросил Ваганова почитать что-нибудь свое. Тот начал читать. Читал монотонно, но достойно. Стихи о Волге, о молодости. Но Николай Рубцов нервно вскочил:

— Графоман!

— Что? — растерялся я.

— Графоман!

Я дернул его за плечо. Рубцов быстро встряхнулся, смутился и тихо извинился. Так тихо и нежно, что беседа не нарушилась, не уткнулась в обиду, а потекла еще искреннее и обоюднее, к чему позже возвращался Григорий Коновалов: «Ну и ну!..» Воспитанный на бедности и на доброте, мальчик Рубцов, безусловно, тянулся к совестливой, защитительной нашей классике, и это запало в его поведение, в его нравственную натуру. Кое-кто, смакуя, рассуждает о разных «приключениях» и «выходках» молодого поэта. Но, как я вижу, его «приключения» и «выходки» — излишек доброты, излишек энергии.

Вот он собрал все портреты классиков из залов общежития и со «вкусом» разместил их в своей комнате: общается с ними. Вот он, худой и невысокий, дерется один в фойе Дома литераторов с девятью милиционерами, катается, мелькает, как хоккейная шайба, сшибает их и считает: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять!..» — Досчитал до девяти — замер. Милиционеры, красные от восхищения, качают его и на ладонях бережно уносят в кутузку... Чушь. Сплетни. Банальная молва о поэте.

Мелкие «спектакли» его смешны, аккуратны и симпатичны. Как-то, улетаю в Челябинск, я отдал ему ключ от комнаты. Мы, слушатели Высших литературных курсов, имели на каждого отдельную комнату, чем вызывали к себе торжественные претензии юных студентов. Николай Рубцов, не сомневаюсь, «специально» не сдавал экзамены то по одному, то по другому предмету: нужна была ему столица, а как в ней подольше задержаться, где найти крышу, если ни денег, ни богатых родственников?.. Возвращаюсь. Поднимаюсь лифтом на седьмой этаж — в моей комнате песня. Первый голос, низкий, буревой, атаманский, — донской поэт Борис Куликов басит. Второй голос, повыше, поубористее, — донской поэт Борис Примеров помогает. Третий голос, неуверенный, но очень дружеский, сипловатый, — Николай Рубцов поддерживает:

*На переднем Стенька Разин
С молодой сидит княжной...*

Хор запнулся на рефрене «Грянем, братцы, удалую!..». Княжну утопили... Посудачили. Обменялись новостями. Примеров лег отдыхать. Куликов и Рубцов удалились куда-то. Часам к одиннадцати вечера открывает дверь Рубцов: «Валь, включи свет!..» Поднимаюсь. Включаю: «Ложись, Коля!» Коля серьезно интересуется: «А кто вон тот, на диване?» Отвечаю: мол, Борис Примеров. Рубцов разобиженно вскрикивает: «Не лягу спать я рядом с этим пьяницей!»

Но раздевается. Ложится. Утром увеличиваем вчерашние «концерты», хохочем, радуемся молодости, простому солнечному дню. Ведь не был же никогда Примеров пьяницей. Не был никогда и Рубцов неуправляемо привередливым среди друзей. А что это? Это мелкая проделка поэтов. Это то, чем отличаются несерьезные поэты от серьезных чиновников.

Разумеется, поэт Николай Рубцов мог и поколючее покуролесить, уставая от безденежья, от клановости газет и журналов, «волчьего» круга, по коему гонят у нас молодых литераторов до тех пор, пока они не восстанут или не погибнут. Погиб Дмитрий Блынский. Погиб Николай Анциферов. Погиб Иван Харабаров. Погиб Вячеслав Богданов. Им легче — похоронили. А сколько их спилось, угасло в кошмарах и нищете?

Смерть Николая Гумилева, Александра Блока, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Николая Клюева, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Дмитрия Кедрина, Павла Шубина, Алексея Недогонова — невыносимость социального мрака, подозрительность и нетерпимость вельмож, необъективность и ревностная жестокость исполнителей гнусных сатраповских приказов и повелеваний.

Нельзя облыжно чернить прошлое, нельзя. Чернить годы подъема? Чернить годы романтики? Чернить поколения, прочные целью и здоровьем? Но что-то нас заставляет содрогаться...

Николай Рубцов рано понял трагедию народа, трагедию России, трагедию напололам разорванного времени... И «на том берегу» у него осталось многое: Кольцов, Никитин, Суриков, Дрожжин, не говоря уже о Некрасове:

*Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шел домой,—
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!
Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.
И еще, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под елкой
О себе и обо мне.
Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.*

Николай Рубцов — весь в этом стихотворении: чуть лукавый, озорновато добрый и потрясенно печальный от наших русских свар, небрежения, забывчивого колоссального равнодушия. Но он не обрушивает на человека, на простых людей вину, не топчет их «батыевым башмаком», как некоторые наши лидеры и литераторы, увешанные золотыми дешевыми значками. Поэт знает, кто правил кровавыми маскардами...

Сергей Есенин физически предчувствовал разорение России, угнетение ее народов, а Николай Рубцов воочию натолкнулся на разграбленные пашни, на отравленные родники, на кукурузную авантюру Хрущева, на колымских рабов, беззубых и опалых от цинги и

недоедания на каторгах. Натолкнулся, выйдя в море и в мир, как все мы, оптимистом:

*Подумаешь,
рыба!
Треске
мелюзговой
Язвил я:
— Попалась уже?
На встречные
злые
суда без улова
Кричал я:
— Эй, вы!
На барже!*

Но кто выиграл? Колымчане — без улова? Мы — на кукурузой вакханалии? Кто? Гадаем...

Николай Рубцов лишился в детстве материнской ласки и отцовской опеки. За его легкими шаловливостями не замолкал крик одинокого самозащищающегося юнца, честного, строптиво-безгрешного. Задибался он куражисто, с ленцой и ворчливо, как ветхий дед.

А ненасытная боль по дому, по матери, по отцу звенела в груди, не давала остынуть чувствам, жгла обидой за сорванные в голодную детдомовскую тьму сказки и веселые праздники. Потому в расставании с близкой женщиной, возвратившей ему утраченный в детстве уют, он терзается, тяжело признается, осознавая:

*И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.
Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.*

Николай Рубцов — опрятный поэт. Как все русские поэты, он стыдливо умалчивает о том, чему нет имени в отношениях мужчины и женщины, нет названия, а есть что-то чудесное, ответственное! Нежность, искренность, природность, абсолютная доверительность, даже молитвенность — наша, русская, в нем наша, тысячелетняя, национальная, как есть и будет у другого народа,— своя, коренная, определенная, понятная человеку:

*В медведя выстрелил лесник.
Могучий зверь к сосне приник.*

*Застряла дробь в лохматом теле.
Глаза медведя слез полны:
За что его убить хотели?
Медведь не чувствовал вины!
Домой отправился медведь,
Чтоб горько дома пореветь...*

Куда раненый медведь отправился: в чащобу, в овраг, в тайгу? Нет. Домой. Опять «домой», опять тоска детства, тоска бесприютства, желание материнского родного покоя. Поэты - люди, как бы «простреливающие» прожитые годы каплями крови, красными ливнями памяти, потому они— поэты.

После Высших литературных курсов я уехал в Саратов и вел поэтическую редакцию нового журнала «Волга». Естественно, стихи Николая Рубцова появились на страницах журнала. Появилась со временем и рецензия на его книгу «Звезда полей»...

Теперь многие охотно пишут о Рубцове. Многие — по праву и по убеждению. Но есть и такие, кто мог бы написать о нем тогда, когда его не печатали, когда о нем не говорили. Есть. Корить их мы не должны. За что их корить? Но забывать это нам тоже не положено.

Да, теперь и Николай Рубцов «на том берегу», и если прищуриться, увидишь: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев, Николай Некрасов, Александр Блок, в элегантных фраках, мундирах, шляпах, с тросточками... Прохаживаются по берегу. За ними — Маяковский, то в желтой кофте, то в шляпе. За ними— Есенин, то в шляпе, то в косоворотке...

А Рубцов? Рубцов, еще вихрастей, с расширенными зрачками, скачет по опустелым весям России, скачет, взрослеет, думает, принимает, сомневается, благодарит:

*Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек,
За то, что с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле — и нет тебе покоя.*

Поэт, закомплексованный только на тоске, погибнет. Поэт, закомплексованный только на «счастье», погибнет. Поэту нужна огромная страна, охватная жизнь, где всякому существу— место... Место— всякому непримитивному чувству.

В Рубцове звенела щедрая «амплитуда» колебания его душевного состояния. От тоски и

непроглядной мглы она двигалась к светлому тону, склонялась к веселости, к иронии, к юмору. И «тот берег» и «этот берег», берега человеческой обыденности, поддерживали поэта.

Сочетание в слове и в чувстве, в образе и повествовании реального и сказочного, грустного и радостного, завидное умение владеть гаммой смены ощущений, сторонней улетучивающейся их туманностью — признак большого таланта. Уверен, потвори Николай Рубцов еще пять, десять лет — мы получили бы поэмы, получили бы прозу. Подтверждение тому - балладно-эпическая «походка» некоторых его стихотворений, блестяще исполненные им диалоги, свободное течение сюжетных линий.

Вологодчина, северное русское откровение породили и вырастили поэта. Он явился вовремя, без опозданий. Явился, услышав: России нужен врачующий есенинский голос, голос иного поколения, иного прозрения. Но Рубцов, как Есенин, неотторжим сутью своей от природы России, от ее нрава и песни:

*Привет, Россия— родина моя!
Как под твоей мне радостно листвую!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...
Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле — по селам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильнее,
И я нигде не мог остановиться.*

Я сильным был, предупреждает поэт. Сильным он явился в этот жестокий мир. Сильный голос принес он России.

Николай Рубцов промыкался по морям и океанам, настоящим и житейским, поскитался по кораблям и заводам. Искал себе уголок, судьбу искал.

«Женщины, как мне кажется,— сожалеет рязанец Борис Шишаев,— ни на каплю не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг, но, когда он т янулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае, те, которых я видел рядом с ним. Николай злился на это непонимание и терял равновесие».

Не спорю. Но, думаю, Рубцова больше злил и печалил общий «климат» семьи. На сто свадеб восемьдесят разводов — такова кое-где статистика уже и тех лет. Семью мы разучились беречь. Детей мы разучились рожать. А без детей жена вольная, муж еще вольнее!

Получив как-то от Рубцова бандероль, я обнаружил чужие стихи. Но объяснила его записка: «Валь, напечатай пару штук, она добрая баба!» Она, «добрая», поспособствовала ему умереть...

Обычный человек чувствует беду и смерть, а такой, как Николай Рубцов, несколько раз «явно» «переживает», «перечувствует» их мощным галактическим воображением, и не зря гибель крупного поэта всегда «результат» его предреканий, не зря.

Трагическая кончина нескольких сверстников Рубцова была обусловлена их «предчувствиями», даже не покорными согласиями жертв со своими «предчувствиями», как некоторые формулируют, а была она обусловлена несправедливым, исковерканным, искореженным ходом жизни, обиранием трудящегося, забвением его традиций, традиций народа, опустошением чело веческого обитания.

Возможно ли беспечно расти и развиваться ребенку, юноше, парню там, где на каждой версте братская могила, где на каждой разоренной и уничтоженной хуторской улице кирпично-мраморный столбик— список убитых войной соседей; как правило, почти все мужчины — убитые.

В такой «мирной» атмосфере рос и развивался неподкупный поэт, сын измученной России.

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года, но не в селе Никольском, как сообщает Сергей Викулов, а в поселке Емецк Архангельской области. Осиротев, попал в детдом при селе Никольском на Вологодчине. Вологодчина выкормила мальчика, подняла поэта. Вологда хоронила его. Вологда поставила ему памятник. Николай Михайлович Рубцов прожил недолго — тридцать пять лет, девятнадцатого января 1971 года его не стало.

Помню, перед отъездом в Вологду он заглянул ко мне. Туда-сюда, пора и прощаться. Обнялись. Сухой, жилистый, он настолько показался мне «невесомым», что я осторожно спросил:

— Здоровье ничего?

— Ничего, устал я. Обещают квартиру. Женюсь.

— Ты такой легкий, Коля, как лист.

— А я лист и есть...

Осень. На тротуарах стаями шевелились и двигались тополиные листья. Чуть влажные, они серебрились и, подхваченные набегающим ветром, кружились, уносились, мелькали. Гонимые души...

Сколько их, зеленых и упругих, оттрепетало в майских ливнях, отколыхалось в июльских грозах? А теперь они опали, чуть помрачнели и улетают далеко-далеко, улетают от родных корней и улиц. Кто их сосчитает? Кто их задержит?

Электричка моя, как будильник, постукивала по рельсам. Я возвращался из Москвы в Домодедово, размышляя о скитаниях русских поэтов. Нигде им не припасено покоя.

Рубцов надеется получить квартиру в Вологде. Я с семьей мыкаюсь в полуподвальной—домодедовской, тратя на поездки около четырех часов...

Электричка стучит. Яркий осенний свет падает на поля и холмы. Грустные ивы склоняются над воскресшими ручейками. Пламенеет и серебрится Пахра. И стаи золотисто-серебряных листьев стучатся в окно, стучатся в окно вагона.

Вот еще совсем, совсем свежий, наверно, еще тугой, тугой и теплый, прижался щекой к стеклу, приник, задержался, перевернулся, сверкнул и канул в бездну света, в бездну рокота, в бездну простора, в серебряный, инистый туман сумерек. Гонимая душа. И не о ней ли:

*Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...*

Зимний морозный день. Жуткий звонок из Вологды. Виктор Коротаяев, задыхаясь и плача, пытается выговорить: «Коля по-огиб, Рубцов по-огиб!..»

Опубликовано в журнале "Смена" (№8 - 90).

Теперь, когда улеглись наши страсти вокруг имени Николая Рубцова, а стихи его "обвыклись" в литературной и житейской среде, утешилось и само отношение людей - почитателей поэта - к нему. Началось утление: талант Николая Рубцова, как родной пронзительный всполох, затрепетал и, золотая, ровно засветился...

Философ думает. Поэт страдает. Пахарь латает рубаху. Сталевар не в силах понять:

куда деваются моря пламенного железа? Трактор есть, а молока детишкам не хватает. Танки и корабли есть, а границы постоянно требуют зоркости. Философ размышляет, сопоставляет, накладывает эпоху на эпоху, политик изучает ситуацию, правитель принимает меры. А у поэта что? Поэт страдает, видя плохо одетого пахаря, недокормленных его детей. Страдает, видя длинную очередь если не за продуктами, то за водкой.

Поэту, наверное, тяжелее всех, никто за него не скажет:

Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи... Мать моя здесь похоронена В детские годы
мои. — Где же
погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Поэт разговаривает с самим собою. Ищет. Не находит. Опять страдает.

Николай Рубцов — ярко один. Одиночество думающего, одиночество страдающего горит, как тот дорожный свет, над его коротким заботливым творчеством, напоминающим северную церковь со всеми положенными ей селами и городами.

Но это «на том берегу», как ответили люди. Между поэтом и народом такая река непонимания!.. Мы наелись революциями. Наелись войнами. Нагоревались могилами.

Тачанка Революции остановилась. Кони в пене. Анка-пулеметчица— бездетная вдова... Лихие рубаки растворились в степных травах и сгнули в скифских курганах. Что же случилось? Что же случилось?

Только ли Николай Рубцов задумался? Задумалось прежде его поколение. А поколение задумалось потому, что уже давно, давно задумались деды и отцы: куда скакала тачанка? Почему у Анки, храброй и красивой, детей на свете не осталось? Зачем в России так много одиноких братских могил? Братский труд — понятно. Братская песня — понятно. Но братская могила? А их у нас — сотни, тысячи. А туруханские могилы? А калмыцкие могилы? И тоже братские, братские.

Вот и «глохнет жизнь под небом оловянным. И лишь почтовый трактор хлопотливо туда-сюда мотается»... А ныне в знакомом «грязном бездорожье» и трактор не нужен. Деревня вымерла. Она сперва постарела, ссутулилась, ослепла и замолкла: могил много, особенно братских!.. А древние погосты, обычные погосты, и прибраться некому. Сиротские погосты. Ничьи.

Поэт Николай Рубцов напоминает мне честного печника, кладущего печь. Каждый кирпич поднят и «пригнан» с крестьянским терпением, ладом и тайной мечтою: вот затрещит лучина, загудят своды, потеплеет в доме, испарится иней с бревен и рам, послышится в горнице речь, русская, не охрипшая от холода, голода и заварухи.

Лишь наивно оценивающий прошлое критик утверждает «независимую, подспудную» способность Николая Рубцова — не впасть в «совриторику», в скудобоковую, худоробрую трибунщину и лозунговость. Талант поэта не бывает независимым от времени, истории, событий. А способность поэта, да еще такого, по-лесному настороженного, как Николай Рубцов, вся в шелесте, в шорохе, в громе дня.

Чуткий, музыкальный, медленно смежающий веки, как мудрый токующий глухарь,— поэт Николай Рубцов! Да, Рубцов. Николай Рубцов среди нас, поющий — очень думающий, декламирующий — очень думающий, спорящий — очень думающий, даже когда смеялся — думал... Гитара его не долбила по нервам, не изнывала, а тревожно вводила к памяти, к лугу, к погосту, к реке, где за туманом еще помигивал пароходик детства и надежды. Голос, жесты поэта чуть притормаживались, как будто чего-то немножко опасались, и потом обретали ритм, свойство общения.

Вернувшись из-за морей, отштормившая юность поэта расширенными глазами, полными слез признания, слез разлуки, как бы заново «осела», вникла, внедрилась, вплакалась в родной край, вологодские деревни, села и города. Даже холмы и взгорья Вологодчины, как живые, она взяла на руки, тяжело поддержала, показала народу и принесла их в

Москву.

Николай Рубцов — редкий поэт. Тончайшие, почти еще блестящие, лишь еле-еле проносящиеся в душе и в голове наития, ощущения, сомнения, завязи догадок и порывов он умело закреплял, соединял в хрупкий многозначный рисунок, наслаивал на этот рисунок робкую, почти неуловимую подтекстовую вязь, дополнял, наделял острыми приметам и под сердцем, наедине со своими страстями и муками окрыленного вдохновения, лепил образ, и музыка находила музыку, дума находила думу:

Взбегу на холм и упаду в траву. И древностью повеет вдруг из дола! И вдруг картины
грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.
Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...

Но это первая часть стихотворения, вводно-общая. Хотя и тут двуединое упоминание через «из дола»: «И древностью повеет вдруг из дола! И вдруг картины грозного раздора» - «вдруг» и снова «вдруг», на весьма маленькой площадке, есть динамит поэта, магия взрыва.

А вторая часть?

Россия, Русь—куда я ни взгляну... За все твои страдания и битвы Люблю твою, Россия,
старину, Твои леса,
погосты и молитвы.
Люблю твои избышки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,

И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях России.

Николай Рубцов бывает предельно жестоким в стихах, но не жестокостью человека, а жестокостью бессонного мастерства, жестокостью кары призвания. Ведь призвание карает поэта священной ревнивостью непокоя! Смотрите:

Кресты, кресты... Я больше не могу! Я резко отниму от глаз ладони И вдруг увижу:
смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они — и где-то у осин
Подхватит это медленное ржанье,
И надо мной —
бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...

Третья часть стихотворения. Но опять кресты, кресты! Опять «вдруг вижу», опять трава, кони жуют, эхо, домашнее почти, и выход, внезапный, огромный, вечный, с молниеподобным звуком: «бессмертных звезд Руси, спокойных звезд безбрежное мерцанье», физически «з» мерцает, звезда всходит из молитвы, из бездонья, из вечности, обнимающей Россию и нас. К Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Некрасову, Блоку, Есенину пришел поэт от рубленно-пролетарского:

Забрызгана крупно и рубка, и рында...

Будучи глубоким, с космическим воображением поэтом, Николай Рубцов нигде, ни в одной строке не омрачил великую тайну властной красоты мироздания грубым несогласием с нею, с тем, что пронизательный осязает, талантливый чувствует, гений пророчит: он был сам тайной, сам был красивым, сам был вечным...

Среднего роста. Худой. Небольшое, чуть удлинненное лицо. Глаза небольшие. Умные. Фиксирующие все. Высокий лоб, незаметно переходящий в лысину. Клетчатая рубашка. Неопределенного рисунка и цвета костюм. Темное пальто, легкое, осеннее. Кепка. Потрепанные ботинки, узконосые... Серо-белый шарф на шее. Голос глуховатый. Слова редкие. Больше молчит, чем беседует. Иногда поет под гитару. Но поет редко. Гитара для растяжного чтения своих стихов. Любит слушать чужие стихи. Никогда не критикует. Молчит.

Таким я его помню. Таким и пишу. Кто знает другого — пусть даст другой портрет. В доме Литературного института — общежитии — невозможно долго сохранить хорошее или плохое настроение. Гости идут, едут. Знакомых уйма. Гениев некуда девать... Встречи ежедневные, если не за столом, так на кухне, если не на кухне, так в аудитории.

Но гении богаты и надменны. Гении известны. Николай Рубцов в «гениях» не ходил, но студенты института и слушатели Высших литературных курсов, уважающие поэзию, ценили Рубцова.

Даже через много лет я и покойный ныне прозаик Акулов «подключились» к Виктору Астафьеву:

В горнице моей светло. Это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, Молча принесет воды...

Поскрипывали переделкинские сосны. Потрескивал в мороз. Седой фронтовик пел нежные строки Рубцова. Что-то трагическое заложено в них от всех нас, переживших кровавые смуты коллективизации, индустриализации, блокады и войны.

Трагично то, что рядовой смысл, вложенный Рубцовым в слова, казался нам, огрубевшим призывами и заветами «корифеев», нам, приученным работать и работать, воевать и воевать, слишком размягчающим:

Красные цветы мои В садике завяли все, Лодка на речной мели Скоро догниет совсем.

Но не личная безвыходность, не зимняя морозная ночь вползала в окно, когда пел Виктор Астафьев, а великая боль великого, обреченного на нищету и братские могилы народа. Так это было. За «Матушка возьмет ведро, молча принесет воды..» стояли револьверная Лубянка, барачная Магнитка, стоял сражающийся Сталинград, стояла родная Россия, а пел ее седой воин.

Николая Рубцова признали не критики и не сильные мира сего, нет, его признали одноклассники, ровесники, близкие и дальние друзья, так же бедно одетые, как и он, так же безденежно «счастливые», как безденежно «счастлив» был он. А это признание — лучшее и самое надежное признание среди общих признаний столицы.

Его стихи-песни до их публикации шли, ехали, летели России не через «телерадио», а через память, через душу людей. Не было в его стихах-песнях ни наглой бравады, ни тюремно заблатнения, ни расхристанного обвинительства, ни хулиганской прыти— держите меня! Не было. А была русская печаль. Русская доля. Русская тоска по свету в пути...

Незлобивый, немстительный, но иногда дерзковатый, он был дружен посильным вниманием друзей, сам берег дружбу, не терял чистого человека, если даже и что-то произойдет — недоразумение, вспышка,— не терял.

Однажды я, поэт из Астрахани Николай Ваганов и Григорий Коновалов, прозаик из Саратова, допоздна засиделись в общежитии Литинститута. У Коновалова запретили роман «Истоки», набранный в журнале «Волга», а Николай Ваганов по разным делам задержался в Москве. Засиделись мы в «гостиничной» комнате у Коновалова, куда зашел и Рубцов.

Стихи, привычки, проделки поэтов, трагические их судьбы — все имело место в разговоре. Несколько увлеченный беседой, Николай Рубцов попросил Ваганова почитать что-нибудь свое. Тот начал читать. Читал монотонно, но достойно. Стихи о Волге, о молодости. Но Николай Рубцов нервно вскочил:

— Графоман!

— Что? — растерялся я.

— Графоман!

Я дернул его за плечо. Рубцов быстро встряхнулся, смутился и тихо извинился. Так тихо и нежно, что беседа не нарушилась, не уткнулась в обиду, а потекла еще искреннее и обоюднее, к чему позже возвращался Григорий Коновалов: «Ну и ну!..» Воспитанный на бедности и на доброте, мальчик Рубцов, безусловно, тянулся к совестливой, защитительной нашей классике, и это запало в его поведение, в его нравственную натуру. Кое-кто, смакуя, рассуждает о разных «приключениях» и «выходках» молодого поэта. Но, как я вижу, его «приключения» и «выходки» — излишек доброты, излишек энергии.

Вот он собрал все портреты классиков из залов общежития и со «вкусом» разместил их в своей комнате: общается с ними. Вот он, худой и невысокий, дерется один в фойе Дома литераторов с девятью милиционерами, катается, мелькает, как хоккейная шайба, сшибает их и считает: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять!..» — Досчитал до девяти — замер. Милиционеры, красные от восхищения, качают его и на ладонях бережно уносят в кутузку... Чушь. Сплетни. Банальная молва о поэте.

Мелкие «спектакли» его смешны, аккуратны и симпатичны. Как-то, улетаю в Челябинск, я отдал ему ключ от комнаты. Мы, слушатели Высших литературных курсов, имели на каждого отдельную комнату, чем вызывали к себе торжественные претензии юных студентов. Николай Рубцов, не сомневаюсь, «специально» не сдавал экзамены то по одному, то по другому предмету: нужна была ему столица, а как в ней подольше задержаться, где найти крышу, если ни денег, ни богатых родственников?.. Возвращаюсь. Поднимаюсь лифтом на седьмой этаж — в моей комнате песня. Первый голос, низкий, буревой, атаманский,— донской поэт Борис Куликов басит. Второй голос, повыше, поубористее,— донской поэт Борис Примеров помогает. Третий голос, неуверенный, но очень дружеский, сипловатый,— Николай Рубцов поддерживает:

На переднем Стенька Разин С молодой сидит княжной...

Хор запнулся на рефрене «Грянем, братцы, удалую!..». Княжну утопили... Посудачили. Обменялись новостями. Примеров лег отдыхать. Куликов и Рубцов удалились куда-то. Часам к одиннадцати вечера открывает дверь Рубцов: «Валь, включи свет!..» Поднимаюсь. Включаю: «Ложись, Коля!» Коля серьезно интересуется: «А кто вон тот, на диване?» Отвечаю: мол, Борис Примеров. Рубцов разобиженно вскрикивает: «Не лягу спать я рядом с этим пьяницей!»

Но раздевается. Ложится. Утром увеличиваем вчерашние «концерты», хохочем, радуемся молодости, простому солнечному дню. Ведь не был же никогда Примеров пьяницей. Не был никогда и Рубцов неуправляемо привередливым среди друзей. А что это? Это мелкая проделка поэтов. Это то, чем отличаются несерьезные поэты от серьезных чиновников.

Разумеется, поэт Николай Рубцов мог и поколючее покурлесить, уставая от безденежья, от клановости газет и журналов, «волчьего» круга, по коему гонят у нас молодых литераторов до тех пор, пока они не восстанут или не погибнут. Погиб Дмитрий Блынский. Погиб Николай Анциферов. Погиб Иван Харабаров. Погиб Вячеслав Богданов. Им легче — похоронили. А сколько их спилось, угасло в кошмарах и нищете?

Смерть Николая Гумилева, Александра Блока, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Николая Клюева, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Дмитрия Кедрина,

Павла Шубина, Алексея Недогонова — невыносимость социального мрака, подозрительность и нетерпимость вельмож, необъективность и ревностная жестокость исполнителей гнусных сатраповских приказов и повелеваний.

Нельзя облыжно чернить прошлое, нельзя. Чернить годы подъема? Чернить годы романтики? Чернить поколения, прочные целью и здоровьем? Но что-то нас заставляет содрогаться...

Николай Рубцов рано понял трагедию народа, трагедию России, трагедию напополам разорванного времени... И «на том берегу» у него осталось многое: Кольцов, Никитин, Суриков, Дрожжин, не говоря уже о Некрасове:

Заяц в лес бежал по лугу, Я из лесу шел домой,— Бедный заяц с перепугу Так и сел передо мной!

Так и обмер, бестолковый, Но, конечно, в тот же миг Поскакал в лесок сосновый, Слыша мой веселый крик.

И еще, наверно, долго С вечной дрожью в тишине Думал где-нибудь под елкой О себе и обо мне.

Думал, горестно вздыхая, Что друзей-то у него После дедушки Мазая Не осталось никого.

Николай Рубцов — весь в этом стихотворении: чуть лукавый, озорновато добрый и потрясенно печальный от наших русских свар, небрежения, забывчивого колоссального равнодушия. Но он не обрушивает на человека, на простых людей вину, не топчет их «батыевым башмаком», как некоторые наши лидеры и литераторы, увешанные золотыми дешевыми значками. Поэт знает, кто правил кровавыми маскарадами...

Сергей Есенин физически предчувствовал разорение России, угнетение ее народов, а Николай Рубцов воочию натолкнулся на разграбленные пашни, на отравленные родники, на кукурузную авантюру Хрущева, на колымских рабов, беззубых и опалых от цинги и недоедания на каторгах. Натолкнулся, выйдя в море и в мир, как все мы, оптимистом:

Подумаешь, рыба! Треске мелюзговой Язвил я: — Попалась уже? На встречные злые суда без улова
Кричал я:
— Эй, вы!
На барже!

Но кто выиграл? Колымчане — без улова? Мы — на кукурузой вакханалии? Кто? Гадаем...

Николай Рубцов лишился в детстве материнской ласки и отцовской опеки. За его легкими шаловливостями не замолкал крик одинокого самозащищающегося юнца, честного, строптиво-безгрешного. Задибался он куражисто, с ленцой и ворчливо, как ветхий дед.

А ненасытная боль по дому, по матери, по отцу звенела в груди, не давала остынуть чувствам, жгла обидой за сорванные в голодную детдомовскую тьму сказки и веселые праздники. Потому в расставании с близкой женщиной, возвратившей ему утраченный в детстве уют, он терзается, тяжело признается, осознавая:

И в затерянном сером краю В эту ночь у берестяной зыбки Ты оплачешь измену мою.
Так зачем же, прищуриль ресницы, У глухого болотного пня Спелой клюквой, как
добрую птицу, Ты с ладони
кормила меня.

Николай Рубцов — опрятный поэт. Как все русские поэты, он стыдливо умалчивает о том, чему нет имени в отношениях мужчины и женщины, нет названия, а есть что-то чудесное, ответственное! Нежность, искренность, природность, абсолютная доверительность, даже молитвенность — наша, русская, в нем наша, тысячелетняя, национальная, как есть и будет у другого народа,— своя, коренная, определенная,

понятная человеку:

В медведя выстрелил лесник. Могучий зверь к сосне приник. Застряла дробь в
лохматом теле. Глаза
медведя слез полны:
За что его убить хотели?
Медведь не чувствовал вины!
Домой отправился медведь,
Чтоб горько дома пореветь...

Куда раненый медведь отправился: в чащобу, в овраг, в тайгу? Нет. Домой. Опять «домой», опять тоска детства, тоска бесприютства, желание материнского родного покоя. Поэты - люди, как бы «простреливающие» прожитые годы каплями крови, красными ливнями памяти, потому они— поэты.

После Высших литературных курсов я уехал в Саратов и вел поэтическую редакцию нового журнала «Волга». Естественно, стихи Николая Рубцова появились на страницах журнала. Появилась со временем и рецензия на его книгу «Звезда полей»...

Теперь многие охотно пишут о Рубцове. Многие — по праву и по убеждению. Но есть и такие, кто мог бы написать о нем тогда, когда его не печатали, когда о нем не говорили. Есть. Корить их мы не должны. За что их корить? Но забывать это нам тоже не положено.

Да, теперь и Николай Рубцов «на том берегу», и если прищуриться, увидишь: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев, Николай Некрасов, Александр Блок, в элегантных фраках, мундирах, шляпах, с тросточками... Прохаживаются по берегу. За ними — Маяковский, то в желтой кофте, то в шляпе. За ними— Есенин, то в шляпе, то в косоворотке...

А Рубцов? Рубцов, еще вихрастей, с расширенными зрачками, скачет по опустелым весям России, скачет, взрослеет, думает, принимает, сомневается, благодарит:

Спасибо, скромный русский огонек, За то, что ты в предчувствии тревожном Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек,
За то, что с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле — и нет тебе покоя.

Поэт, закомплексованный только на тоске, погибнет. Поэт, закомплексованный только на «счастье», погибнет. Поэту нужна огромная страна, охватная жизнь, где всякому существу— место... Место— всякому непримитивному чувству.

В Рубцове звенела щедрая «амплитуда» колебания его душевного состояния. От тоски и непроглядной мглы она двигалась к светлому тону, склонялась к веселости, к иронии, к юмору. И «тот берег» и «этот берег», берега человеческой обыденности, поддерживали поэта.

Сочетание в слове и в чувстве, в образе и повествовании реального и сказочного, грустного и радостного, завидное умение владеть гаммой смены ощущений, сторонней улетающей их туманностью — признак большого таланта. Уверен, потвори Николай Рубцов еще пять, десять лет — мы получили бы поэмы, получили бы прозу. Подтверждение тому - балладно-эпическая «походка» некоторых его стихотворений, блестяще исполненные им диалоги, свободное течение сюжетных линий.

Вологодчина, северное русское откровение породили и вырастили поэта. Он явился

вовремя, без опозданий. Явился, услышав: России нужен врачующий есенинский голос, голос иного поколения, иного прозрения. Но Рубцов, как Есенин, неотторжим сутью своей от природы России, от ее нрава и песни:

Привет, Россия— родина моя! Как под твоей мне радостно листвою! И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...
Как будто ветер гнал меня по ней, По всей земле — по селам и столицам! Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.

Я сильным был, предупреждает поэт. Сильным он явился в этот жестокий мир. Сильный голос принес он России.

Николай Рубцов промышкался по морям и океанам, настоящим и житейским, поскитался по кораблям и заводам. Искал себе уголок, судьбу искал.

«Женщины, как мне кажется,— сожалеет рязанец Борис Шишаев,— ни на каплю не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг, но, когда он т янулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае, те, которых я видел рядом с ним. Николай злился на это непонимание и терял равновесие».

Не спорю. Но, думаю, Рубцова больше злил и печалил общий «климат» семьи. На сто свадеб восемьдесят разводов — такова кое-где статистика уже и тех лет. Семью мы разучились беречь. Детей мы разучились рожать. А без детей жена вольная, муж еще вольнее!

Получив как-то от Рубцова бандероль, я обнаружил чужие стихи. Но объяснила его записка: «Валь, напечатай пару штук, она добрая баба!» Она, «добрая»,

поспособствовала ему умереть...

Обычный человек чувствует беду и смерть, а такой, как Николай Рубцов, несколько раз «явно» «переживает», «переживает» их мощным галактическим воображением, и не зря гибель крупного поэта всегда «результат» его предреканий, не зря.

Трагическая кончина нескольких сверстников Рубцова была обусловлена их «предчувствиями», даже не покорными согласиями жертв со своими «предчувствиями», как некоторые формулируют, а была она обусловлена несправедливым, исковерканным, искореженным ходом жизни, обиранием трудящегося, забвением его традиций, традиций народа, опустошением чело веческого обитания.

Возможно ли безопасно расти и развиваться ребенку, юноше, парню там, где на каждой версте братская могила, где на каждой разоренной и уничтоженной хуторской улице кирпично-мраморный столбик— список убитых войной соседей; как правило, почти все мужчины — убитые.

В такой «мирной» атмосфере рос и развивался неподкупный поэт, сын измученной России.

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года, но не в селе Никольском, как сообщает Сергей Викулов, а в поселке Емецк Архангельской области. Осиротев, попал в детдом при селе Никольском на Вологодчине. Вологодчина выкормила мальчика, подняла поэта. Вологда хоронила его. Вологда поставила ему памятник. Николай Михайлович Рубцов прожил недолго — тридцать пять лет, девятнадцатого января 1971 года его не стало.

Помню, перед отъездом в Вологду он заглянул ко мне. Туда-сюда, пора и прощаться. Обнялись. Сухой, жилистый, он настолько показался мне «невесомым», что я осторожно спросил:

— Здоровье ничего?

— Ничего, устал я. Обещают квартиру. Женюсь.

— Ты такой легкий, Коля, как лист.

— А я лист и есть...

Осень. На тротуарах стаями шевелились и двигались тополиные листья. Чуть влажные, они серебрились и, подхваченные набегающим ветром, кружились, уносились, мелькали. Гонимые души...

Сколько их, зеленых и упругих, оттрепетало в майских ливнях, отколыхалось в июльских грозах? А теперь они опали, чуть помрачнели и улетают далеко-далеко, улетают от родных корней и улиц. Кто их сосчитает? Кто их задержит?

Электричка моя, как будильник, постукивала по рельса Я возвращался из Москвы в Домодедово, размышляя о скитаниях русских поэтов. Нигде им не припасено покоя. Рубцов надеется получить квартиру в Вологде. Я с семьей мыкаюсь в полуподвальной—домодедовской, тратя на поездки около четырех часов...

Электричка стучит. Яркий осенний свет падает на поля и холмы. Грустные ивы склоняются над воскресшими ручейками. Пламенеет и серебрится Пахра. И стаи золотисто-серебряных листьев стучатся в окно, стучатся в окно вагона.

Вот еще совсем, совсем свежий, наверно, еще тугой, тугой и теплый, прижался щекой к стеклу, приник, задержался, перевернулся, сверкнул и канул в бездну света, в бездну рокота, в бездну простора, в серебряный, инистый туман сумерек. Гонимая душа. И не о ней ли:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, Неведомый сын удивительных
вольных племен! Как прежде скакали
на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Зимний морозный день. Жуткий звонок из Вологды. Виктор Коротаев, задыхаясь и
плача, пытается выговорить: «Коля по-огиб, Рубцов по-огиб!..»